

Пётр Сафронов
(независимый исследователь)

Темная история будущего¹⁰

DOI: 10.53953/08696365_2026_200_4_121

Petr Safronov
(independent researcher)
The Dark History of the Future

Сборник статей, готовящийся к выходу в издательстве *Überbau* в Риге под редакцией Андрея Олейникова, объединяет работы профессиональных историков и философов истории. Представляющий авторов, пишущих на разных языках и опирающихся на различные теоретические предпосылки, сборник не претендует на создание новой парадигмы историографии и не предлагает единой концепции. Впрочем, отсутствие концептуального единства в материалах сборника продуктивно, поскольку превращает книгу в пространство взаимодействия различных стратегий мышления о времени. Основной вопрос сборника можно сформулировать так: как история и историки могут работать с будущим в настоящем?

Тема разрыва времени или времен, многократно повторяющаяся в сборнике, не может не трогать читателей, переживающих ситуацию краха устойчивого жизненного мира прямо сейчас. Эта книга важна как свидетельство уязвимости — и истории как дисциплины, и категорий, при помощи которых осмысляется происходящее, и способов реагирования на катастрофу, которая становится повседневным опытом. Но уязвимость, вызванную разрывом времени, вряд ли можно считать приметой только настоящего, поскольку на Земле есть сообщества, для которых существование в катастрофе является уже давно установившимся состоянием. А значит, попытка связать ситуацию разрыва времени именно с современностью, с текущим моментом или с эпохой Антропоцена сама по себе концептуально и методологически уязвима. То «мы», от имени которого ведется разговор о будущем в текстах сборника, проблематично. Ирония заключается в том, что если для одних будущее *по-прежнему* «открыто», то для других оно *по-прежнему* переживается как истощенное или утраченное. При этом во многих случаях речь идет о таких формах опыта, которые не только утрачены в своем актуальном бытии, но и не могут быть реконструированы.

Во вступительной статье редактор-составитель указывает, что общим знаменателем вошедших в сборник работ является интерес к «открытому будущему» в терминах Никласа Лумана, и это указание задает теоретическую рамку дальнейшего рассуждения. Луман проводил различие между «настоящим

10 LLM *ChatGPT 5.3* и *Claude Opus 4.6* использовались для перекрестной критики авторской аргументации, грамматического редактирования промежуточных версий текста и поиска библиографической информации.

будущим» и «будущим настоящим»¹¹. Настоящее будущее — это возможные сценарии предстоящих событий, тогда как будущее настоящее — тот единственный вариант, который осуществляется. Соотношение между этими двумя измерениями задает пространство исторического мышления. Открытость будущего обусловлена постоянным напряжением между множеством возможного и единичностью осуществляющегося, которое переживается в конкретных ситуациях. Именно это напряжение объясняет, как указывает составитель, почему историки, которым как будто не пристало заниматься будущим, не могут обойтись без него. Одновременно возникает и вопрос о границах применимости этого объяснения в условиях, когда само будущее распределено неравномерно. По мысли Андрея Олейникова, поддержание открытости будущего связано с осуществлением синтеза между утопическим воображением и профессиональным исследованием истории, и этот тезис выступает одной из центральных осей сборника. Прогнозирование, форсайт-проектирование и прочие техники рационального планирования работают как редуцирующие процедуры, создающие иллюзию контроля над будущим за счет его сужения, и в этом смысле они оказываются не столько инструментами познания, сколько механизмами управления неопределенностью. Утопия, напротив, сохраняет критическую функцию именно в силу принципиальной неосуществимости: оставаясь нереализованной, она удерживает открытость настоящего будущего и препятствует его окончательной фиксации. Историческое знание, не позволяя прошлому закрыться для новых интерпретаций, расширяет настоящее в сторону прошлого по той же логике, по которой утопия расширяет его в сторону будущего, создавая тем самым особую временную конфигурацию. Как формулирует это составитель: «прошлое не может завершиться» ровно по тем же соображениям, по которым «будущее не может начаться» (5). Синтез утопии и истории обеспечивает «практическое будущее», которое дает людям возможность действовать в их собственном настоящем. Для понимания того, почему прежние формы этого синтеза исчерпали себя, составитель обращается к Карлу Маннгейму, и это обращение позволяет историзировать саму идею прогресса. Прогресс, по Маннгейму, — не единственная и не оптимальная форма синтеза истории и утопии, а та форма, которая возникла как ответ на открытие контингентности и одновременно стремилась ее нейтрализовать, и в этом смысле кризис прогресса есть кризис именно этой нейтрализации, а не самой способности мыслить будущее¹².

Статьи сборника, непосредственно следующие за введением, образуют как бы отдельный теоретический блок. Статья Золтана Болдижара Симона и Марека Тамма «Исторические будущие» формулирует тезис о «разрыве» между прошлым и будущим в эпоху Антропоцена и технонаучных ускорений, однако важно подчеркнуть, что этот разрыв не сводится к простой утрате преемственности. Речь идет о ситуации, в которой привычные механизмы переноса опыта оказываются неработоспособными, поскольку сами условия действия радикально изменяются. Например, климатические изменения создают такие сценарии будущего, для которых невозможно найти адекватные исторические ана-

11 *Luhmann N. Die Zukunft kann nicht beginnen: Temporalstrukturen der modernen Gesellschaft // Politik und Gesellschaft: Festschrift für Dolf Sternberger / Hg. von H. Maier, H. Rausch und H. Denzer. München: Piper, 1976. S. 115–127.*

12 *Маннгейм К. Идеология и утопия / Пер. с нем. М.И. Левиной // Маннгейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 7–262.*

логи, и это делает традиционные формы исторического знания недостаточными. Авторы трактуют понятие «исторические будущие» в модальном смысле, то есть как совокупность возможных форм перехода от прошлого к будущему, предлагая рассматривать будущее не как единый объект, а как множество траекторий. Текст Жерома Баше «Переоткрывая будущее: возникающие миры и беспрецедентные исторические будущие» разворачивает идею будущего как поля беспрецедентности. Для понимания аргумента Баше необходимо уточнить, что беспрецедентность здесь не означает абсолютную новизну, а указывает на невозможность опереться на уже существующие модели. Автор показывает, что современность утрачивает статус предсказуемого продолжения прошлого, поскольку формируются процессы и миры, не имеющие аналогов в истории, и это утверждение можно конкретизировать через примеры альтернативных форм хозяйствования или локальных экологических практик. В центре внимания Баше «возникающие миры», чья практика уже сейчас демонстрирует разрыв с доминирующими логиками капитализма и линейного прогресса, и именно в этом заключается их историческая значимость. Беспрецедентность, таким образом, становится новой нормой исторического существования, и осознание этого пронизывает тексты сборника. Статья Итана Кляйнберга «Истинный север», в свою очередь, выявляет инерцию историографических форм. Несмотря на разговоры о множественности времен и разрывах, историческое мышление продолжает воспроизводить линейные и направленные модели. Проблема заключается не в недостатке новых концептов, а в устойчивости старых когнитивных схем. Кляйнберг фиксирует разрыв между трансформацией исторической ситуации и способами ее описания: время меняется быстрее, чем историография успевает измениться. Концепция Ахима Ландвера, представленная в сборнике главой под названием «Будущее — безопасность — модерн: об одной неясной связи» из его книги «По эту сторону истории»¹³, предлагает базу для дальнейшего уточнения контуров обсуждаемого разрыва. Если у Симона и Тамма разрыв фиксируется как историческое условие, а у Баше — как характеристика «беспрецедентных» миров, то у Ландвера он получает аналитическую артикуляцию через переопределение самого статуса настоящего. Настоящее в его трактовке — не точка на временной шкале, а единственно доступное измерение, охватывающее все, на что мы можем повлиять. Прошлое и будущее, в свою очередь, выступают как проективные горизонты этого настоящего, изменяющиеся вместе с ним. Отсылки к значимым прошлым и будущим (хроноференции) функционируют как практические инструменты ориентации, позволяющие актору определить границы возможного действия в конкретной ситуации. Здесь актуализируется проблема, обозначенная выше: если поле возможного действия определяется через настоящее, то вопрос о том, кому и в какой мере это настоящее доступно, становится принципиальным. Иначе говоря, концепция практического будущего предполагает субъект, способный действовать, но не уточняет, как распределена эта способность.

Вопрос о соотношении истории и утопии получает историческое измерение в статье Антониса Лиакоса «Утопическое и историческое мышление: взаимодействия и взаимопереходы», прослеживающего их отношения от христианской эсхатологии до кризиса идеологии прогресса в XX веке. Эта реконструкция важна

13 Книга Ахима Ландвера в 2026 году вышла на русском языке в издательстве «Новое литературное обозрение».

не только как генеалогия понятий, но и как способ показать, что напряжение между историей и утопией неоднократно переопределялось. Линия, идущая от Книги пророка Даниила через Просвещение и Гегеля к современному историзму, демонстрирует, что современный разрыв истории и утопии не является уникальным событием, а вписывается в более длинную историю колебаний между надеждой и ее институционализацией. Как отмечает Лиакос, в настоящем происходит перераспределение утопической энергии: она все в большей степени смещается в прошлое, питая ностальгию по неосуществленным возможностям, тогда как будущее оказывается нагружено опасениями повторения прошлых катастроф. Это смещение выражается и в росте популярности ретроутопий, от практик реконструкции «утраченных» социальных форм до политических проектов, апеллирующих к идеализированному прошлому. Тем самым именно прошлое начинает функционировать как резервуар альтернатив, а будущее утрачивает этот статус. Отмеченный Лиакосом ретроутопизм связан с обсуждением темы призрачности в эссе Марка Фишера «Что такое призракология?». В его описании призракология¹⁴ выступает как доминирующая культурная логика, в рамках которой будущее переживается не как область новизны, а как специфическое дление несостоявшихся возможностей. Примером может служить повторяемость эстетик XX века в современной культуре — от музыкальных жанров до визуальных форм, — где новое часто оказывается вариацией уже знакомого. Фантомная потенциальность утраченного горизонта продолжает действовать в настоящем именно потому, что оно не завершилось, а было прервано. Призрачность в этом контексте означает не метафорическое «возвращение прошлого», а специфический режим действия того, что не может быть полностью зафиксировано. Например, нереализованные проекты или утраченные формы жизни продолжают структурировать ожидания и решения в настоящем, хотя они не существуют как проверяемые факты. Их влияние обнаруживается косвенно: в выборе альтернатив, в устойчивых образах будущего, в повторяемости практик. Призрачное не поддается верификации, но продолжает действовать, задавая границы мыслимого и возможного. В завершающем сборник тексте «К горизонтам ностальгических ожиданий» Лина Книжник предлагает альтернативную интерпретацию ностальгии: она понимается не как симптом истощения будущего, а как своеобразный темпоральный протест, то есть как способ удержания нереализованных возможностей в мечте. Это расхождение важно, поскольку переводит обсуждение из уровня описания культурной логики в плоскость выбора. Обращение к прошлому оказывается не только формой депрессивной капитуляции перед невозможностью будущего, но и ресурсом для новых мечтаний.

Несколько особняком от других текстов сборника стоит статья Эвы Доманской, которая радикализирует вопрос о задачах профессиональной истории, переводя его в плоскость методологии. Опираясь на концепцию потенциальной истории Ариэлы Азулай¹⁵, Доманска предлагает извлекать из прошлого нереализованные возможности и тем самым переориентировать историческое знание

14 В оригинальном тексте Фишера используется термин *hauntology*, отсылающий к книге Ж. Деррида «Призраки Маркса» (М.: Логос-Альтера, 2007). Тематика призрачности (с использованием в переводе термина «хонтология») обсуждается также в текстах Фишера из сборника эссе «Призраки моей жизни», вышедшего третьим изданием в «Новом литературном обозрении» в 2025 году.

15 *Azoulay A.A. Potential History: Unlearning Imperialism. London: Verso, 2019.*

с фиксации фактичности на работу с потенциалом. В качестве примера можно привести колониальные архивы, которые традиционно интерпретируются как источники о власти и подчинении, но могут быть прочитаны и как свидетельства подавленных альтернативных форм жизни и организации. Жесткая критика историографии как западного колониального проекта сопровождается в тексте Доманской призывом к «эпистемическому неповиновению». Впрочем, несмотря на броскую радикальность этой позиции, она, как представляется, сохраняет прочную привязку к академическим формам высказывания, что сильно ограничивает ее трансформирующий потенциал. В ряде текстов сборника, эксплицитно или имплицитно, появляется апелляция к Антропоцену как к новой рамке историчности. Появление этого концепта вытекает из логики обсуждения разрыва времени: если прежние механизмы связывания времен перестают работать, то возникает необходимость в понятии, которое фиксирует этот разрыв на планетарном уровне. Однако валидность концепта «Антропоцен» уже поставлена под вопрос. Принятое в 2024 году Подкомиссией по стратиграфии четвертичного периода Международной стратиграфической комиссии решение отказать от признания Антропоцена отдельной геологической эпохой указывает на напряжение между научным и нормативным измерениями этого термина. Как отмечалось в журнале «Science»¹⁶, одной из причин стало стремление избежать смешения фактических и оценочных суждений в геологии.

Возникает принципиальный вопрос: возможно ли удержать жесткую демаркацию между научным и вненаучным осмыслением исторического опыта в ситуации, когда реальность ставит эту демаркацию под сомнение. Возможный ответ на этот вопрос предполагает переопределение задач исторического знания. Если традиционно оно ориентировано на прояснение прошлого как регулятивного идеала, то в условиях, описываемых сборником, этого оказывается недостаточно. История сталкивается с необходимостью работать не только с тем, что может быть объяснено, но и с тем, что ускользает от объяснения. Призрачность, о которой пишет Фишер, в этом контексте может быть понята как характеристика исторического времени как такового. Речь идет о наличии остатка, который не устраняется через расширение базы источников или усложнение интерпретации. Исчезновение целых экосистем или культурных практик оставляет после себя не только документируемые факты, но и утраченные возможности, которые невозможно реконструировать. Так, в административных архивах, содержащих документы по управлению колониями, можно проследить налогообложение, демографию и хозяйственные практики, но невозможно реконструировать, как сами участники этих процессов переживали происходящее и соотносили его с будущим. И это не просто нехватка источников, а именно структурное отсутствие: такие элементы опыта просто не подлежали фиксации. Работа с архивами преобразований периода 1980–1990-х годов в позднем СССР и затем независимой России демонстрирует еще один тип затемнения и появления призрачного — не столько подавление, сколько фрагментацию и утрату. Материалы педагогического движения, локальных экономических экспериментов или неформальных сетей часто не были институционально закреплены и сохранились в разрозненных документах, медийных следах или личных сви-

16 Voosen P. The Anthropocene Is Dead. Long Live the Anthropocene // Science. 2024. March 5 (URL: <https://www.science.org/content/article/anthropocene-dead-long-live-anthropocene>).

детельствах. В результате период оказывается описан преимущественно через макроэкономические и политические рамки, тогда как конкретные альтернативные траектории развития выпадают из поля зрения. Здесь отнятое будущее проявляется иначе, чем в колониальном архиве: не как исключение голоса, а как невозможность собрать воедино уже распавшийся опыт.

Ахим Ландвер фиксирует настоящее как конечное, то есть ограниченное во времени пространство действия. Однако этого недостаточно для описания опыта, в котором время переживается не просто как ограниченное, но как исчерпанное и/или стремительно исчерпывающееся. Нужно провести различие конечности и редкости времени. Редкость времени проявляется, например, в ситуациях экологического кризиса, когда окно возможностей для предотвращения необратимых изменений сокращается, или в условиях социальных катастроф, где историческая непрерывность уже нарушена. В сдвиге от конечности к редкости высвечивается, как множественность будущих перестает быть абстрактной характеристикой и становится практическим инструментом различения между тем, что еще подлежит изменению, и тем, что уже утрачено. Если допустить, что речь идет об общем «практическом» будущем, то необходимо помнить, что для части мира это будущее уже наступило в форме непосредственной утраты собственного времени. Колониальные и постколониальные контексты, события исторических переломов, зоны экологической деградации или военных конфликтов демонстрируют ситуации, в которых возможность соотносить прошлое, настоящее и будущее уже была прервана. То, что в сборнике описывается как новый разрыв, для этих контекстов является сложившимся структурным условием. Расширение опыта исчерпанности будущего на ранее «благополучные» регионы (через все более заметные климатические изменения в том числе) делает его более видимым, но не устраняет неравномерности. Необходим пересмотр форм историографии. Академическая история продолжает функционировать через процедуры аргументации, ссылок и участия в дисциплинарных дискуссиях, не замечая иные регистры разговора о времени. Практики дружбы, воображения или надежды, может быть, не фиксируются как исторические источники, но именно через них люди ориентируются в условиях редкости времени. Примером могут служить локальные инициативы взаимопомощи в кризисных ситуациях, где будущее удерживается не через планирование, а через поддержку здесь и сейчас¹⁷. Подобные регистры обращения с временем остаются на периферии академического знания: неинтегрированными и невидимыми. Метафора призрачности, активно используемая в сборнике, позволяет увидеть несостоявшееся, но недостаточна для описания отнятого. Речь идет не о дефиците знания, а о систематическом непризнании определенных форм опыта. В этой зоне оказываются не только последствия колониализма, лишившего сообщества их собственного времени, но и те способы исследования ушедшего/грядущего, которые не укладываются в академические стандарты. Несостоявшиеся утопии еще могут быть реконструированы и переосмыслены как ресурс. Отнятое же — разрушенные уклады, исчезнувшие языки, утраченные формы опыта — утрачено навсегда: невозможно восстановить не только содержание, но и сами условия переживания времени. О, как же темна история...

17 В ряду таких инициатив отмечу инициированный в 2026 году Катрин Ненашевой в Краснодаре проект «Травмпункт», направленный на поддержку женщин, пострадавших от насилия.